

Алекс Сино

## Грандиозный старик

### Полжизни в Одессе

Автор рассказов (это жанр), которые вы сейчас читаете, как и я, потомственный одессит. Что еще нас сближает – душевная привязанность к джазу, раннее чтение (и на всю жизнь) дилогии об Остапе Бендере и его, как нынче пишут, страте и общие друзья. Упомяну лишь незабвенную семью одесских врачей, чей дом притягивал всех, кто того стоил, от Аркадия Райкина и Зиновия Гердта до Тарапуньки... Были в их кругу и мы с Татьяной, и Алекс Сино – тогда его, юношу, товарища великановских сыновей, звали иначе: имя и фамилия на титуле этой книги принадлежат взрослому известному и креативному человеку, уже много лет живущему в США, где он и стал – читаю Википедию – писателем, продюсером, автором текстов к жемчужинам современного джаза в стиле латино.

Два «Грэмми», первые призы на кинофестивалях, победы в литературных конкурсах, в том числе и за «Грандиозного старика». И так, мы – рядом или поблизости – давно, но он родился намного позже меня, в 1957 году. Я как раз закончил школу. Тем не менее он, пацан с Южной, а потом и студент, как выяснилось, был завсегдаем джазовых фестивалей и концертов, о которых я писал в прессе, да и организовывал... Я же в 80-е годы слышал о нем от журналиста Владика Кигеля.

Эту книгу Алекс подарил мне в цифровой записи (скоро придет и печатный вариант), и я совсем недавно сумел открыть сложный файл. Случилось это в дни, когда 99-я книга альманаха был сверстана, и мы искали определенное количество текста, чтобы (тонкости верстки) поставить его именно там, где нужно для сохранности макета. И место это было в разделе «Ах, Одесса», и мы поместили в него первый рассказ про Грандиозного старика (ему там и место).

Что до персонажа, давшего имя сборнику, у Ильфа и Петрова Бендер называет Кису Воробьянинова могучим стариком, Википедия полагает, что это – зиц-председатель Фунт, а ИИИ называет Йодо из «Звездных войн»...

Я втайне надеюсь, что Алекс думал обо мне, но скорее всего, всерьез истинному смыслу этого с словосочетания соответствует Евгений Михайлович Голубовский – именно его автор благодарит за все хорошее в предисловии к книге.

И я с ним согласен.

Феликс Кохрихт

*Сегодня мы начинаем публикацию фрагментов  
из книги «Грандиозный старик»*



Арифметика – наука упрямая, но бездушная. Половину своего жизненного пути я провел в Одессе, и уже половину без нее. Но в какой же период жизни Одессы было больше? В детстве, во дворе на улице Южной? В юности, на Приморском бульваре? А может быть, на побережье Италии, на пляже Майями или в круглом доме у Центрального парка на Манхэттене?

Как тут не запутаться, если в Одессе живут выходцы из Италии и Греции, а в Америке, наоборот, из Одессы? Наверное, поэтому я люблю жить у моря, и неважно, что иногда это не море, а океан. Главное, чтобы по утрам запах зеленой тины и мидий проникал сквозь приоткрытое окно.

Алекс Сино

## Грандиозный старик

Хотя одесская осень вкупе с мнительностью часто искажают реальность, я сразу узнал его прыгающую птичью походку. Цыкнув на свою таксу, я устремился за сгорбленной фигурой профессора Борового, которая почти скрылась за углом холодильного института.

Когда он представлялся нам перед своей первой лекцией, огромный, рыжий, с уродливым шрамом на правой щеке, я ослышался и потом назвал его Самуилом Яковлевичем. Высокомерно прищурившись, он сказал:

– Молодой человек, меня зовут Саул. Это, к вашему сведению, библейское имя. Царь Саул, объединитель Израиля и создатель первой регулярной армии еврейского государства.

Высокомерие в его взгляде мешалось с иронией.

– Первая книга Царств. Как вы могли забыть?

Ошарашенный, я смотрел, как профессор собирает тетради в свой потрепанный портфельчик. Саулу Яковлевичу Боровому было тогда крепко за семьдесят, и Первую книгу Царств он, скорее всего, проходил в своем дореволюционном детстве. У нас, восемнадцатилетних безбожников, была своя школа – КВН и «Битлз».

Профессор Боровой веселил нас без остановки. Даже название его предмета – «Экономическая история» – казалось несерьезным. Он читал лекции, гордо откинув голову и закрыв правый глаз. Он был похож на памятник, который шаловливый

скульптор изваял с расстегнутой ширинкой. Написав что-то на доске, он клал мел в карман просторного, как балахон, пиджака и потом под наш тихий хохот долго искал его. Он мог запросто процитировать иностранного коллегу на прекрасном французском, при этом его русский был типичным одесским говором со словами «пьять», «рубель» и «пяные». Он часто пользовался украинским словом «смитьё» – мусор, которое произносил с особым чувством и ударением на «т» – «смиттё».

Когда город накрыла отъездная волна середины семидесятых, и нашу группу один за другим покинули двое очень талантливых ребят – Миша Цукерман, сейчас он профессор в Беркли, и Шурик Гуревич, руководящий теперь большой страховой компанией во Флориде, – Боровой тяжело вздохнул:

– Ну и с кем мы здесь останемся? Со смиттём?

Заметив мое удивление, он поторопился загладить бестактность:

– Последняя надежда на вас, молодой человек.

Наши товарищи не просто оставляли нас: они перебирались в сказочный мир, где битлов можно было увидеть живьем, легко купить их пластинки.

Звездой нашей неофициальной институтской эстрады оставался профессор Боровой. Он мог выбросить в окно зачетку студента, который не подготовился к экзамену. Во время лекции его речь могла вдруг стать глуховатой и неразборчивой, как если бы он погружался в воду, но потом он всхрапывал, вскидывал голову, приглаживал рыжие вихры и как ни в чем не бывало просил напомнить, на каком именно месте он остановился.

– Бенья говорит мало, но смачно, – давали мы задание противникам по КВН с институтской сцены. – Кто говорит смачно и много?

После минутного совещания противник давал ответ:

– Смачно и много говорит профессор Боровой, если не успеет заснуть! – взрыв восторженного хохота сотрясал зал. Смеялись все, включая педагогов. Смеялся, утирая слезы, и наш герой.

Судя по почте, которая шла к нему из Франции, Англии, США, Израиля, в научном мире его ценили. Я слышал, как один аспирант отозвался о нем: «Грандиозный старик!». Признание ему принесла диссертация, название которой в мои студенческие

годы произносить было неловко: «Роль евреев в экономике Запорожской Сечи».

Он начал собирать материал для этой работы будучи студентом, а завершил ее в Уфе, куда его увезла девушка со старомодным именем Даша. Они учились вместе в университете, но она вышла замуж за молодого чекиста, который казался ей героем новой эпохи. Осознав, какую роль он играл в создании первых колхозов, – это произошло после гибели ее семьи, она была родом из Овидиополя – Даша ушла от него, как говорится, в чем была. Саул столкнулся с ней в читальном зале библиотеки Горького на Пастера, где она спасалась от февральского холода. Он привел ее домой, и она осталась у него. Поскольку муж-чекист был человеком настойчивым, и она знала, что он ее не оставит, молодые бежали к ее дальним родственникам в Уфу, не предполагая даже, что это спасет их от голода, последовавшего террора и охоты на космополитов. Оба устроились педагогами в местный техникум. В сорок втором Саул ушел на фронт, в сорок пятом вернулся с орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией». Они бы так и жили в Уфе, но во второй половине пятидесятых одесские друзья нашли ему работу и вернули в родной город.

– Зачем мне Уфа, когда у нас в Одессе я – единственный доктор наук, живущий в коммунальной квартире? – мрачно шутил Саул.

Дверь в дом Борового мне открыла моя такса Рудик.

Лет в девятнадцать я понял, что на улице он функционирует так же эффективно, как модные тогда джинсы «Супер райфл» или «Ориент» с вечным календарем. Девушки реагировали на Рудика, но как только оказывались в непосредственной близости, я переводил их внимание на себя. Именно по этой причине Рудик выходил из дому значительно чаще, чем того требовали его гигиенические нужды.

Профессор отреагировал именно на него.

Я догнал Саула у красивого двухэтажного дома на улице Щепкина.

– Здравствуйте, Саул Яковлевич!

– А, это вы, безграмотный юноша. Выучили мое имя все-таки. Заходите. И собачку свою обязательно пригласите.

– Даша, посмотри, кого я привел!

В конце коммунального коридора, стены которого были увешаны тазами, сумками, раскладушками и велосипедами, появился темный силуэт женщины. Я решил, что Даша – домохозяйка в профессорском доме, но подошедшая ко мне женщина протянула руку и представилась с достоинством: «Дарья Николаевна». Очки, коротко остриженные седые волосы, белая блуза, серая юбка. Она могла быть учительницей в школе. Даже завучем. Она наклонилась к Рудику и, подхватив на руки, так нежно прижала к себе, как прижимают только родное существо. Через пять минут я знал, что у Боровых тоже была такса.

– Это было, когда я работал в научной библиотеке. Помню, как-то раз туда ввалился Буденный с адъютантами. Он проскакивал через Одессу. У него что-то там лопнуло, и упряжку срочно чинили. Буденного же отвели к нам погреться. Ему понравилась собачка. Когда он уходил, то подмигнул мне и почему-то сказал по-немецки «ауфидерзейн». А я автоматически промямлил «данке». Поверите – долго потом спать не мог. Все мерещился его хитрый прищур. Думал, что арестуют. У меня таких страхов в жизни было много.

После чего я услышал их рассказ о побеге из Одессы и возвращении в нее. До сих пор не знаю, что профессору нравилось больше: устроившись в кресле, поглаживать лежащего на его коленях Рудика или разговаривать со мной.

В моих глазах его квартира была классическим местом жительства настоящего старорежимного профессора, с одной оговоркой – кабинет, спальня и гостиная помещались в одной комнате.

– Сколько книг! – я с восхищением кивнул на высокие старинные из красного дерева полки до потолка.

– Представьте, остались от родителей. Спасибо соседям, сберегли. Этим полкам сам старик Маршак завидовал!

Я читал на потертых корешках имена авторов: Семен Рабинович, А.М. Федоров, Семен Юшкевич, Влас Дорошевич.

– Даже не слышал о таких, – сказал я.

– Ну, молодой человек, вы, наверное, думаете, что одесская литература началась с Бабея, а до него здесь и трава не росла?

– Я никогда не думал об этом, – признался я.

– А он думал. Читал и думал. И «Танах», и «Милого друга», и «Леона Дрея».

– Что это – «Леон Дрей»?

Профессор смерил меня взглядом одного своего глаза и сказал:

– Я же вам говорю: это что – образование? Это – смиттё! «Леон Дрей» – русский бестселлер начала XX века. А его автор – наш одессит Семен Юшкевич, самый высокооплачиваемый автор того времени. И Юшкевич, и Бабель были страшными франкоманами. Юшкевич учился в Сорбонне: французский знал, как родной. И Бабель, кстати, свои первые рассказы писал по-французски.

– Откуда вы знаете?

– Откуда? Представьте, от него самого! Он сидел напротив меня, как вы сейчас, и мы с ним говорили о жизни на чистом французском языке.

– Вы были знакомы с Бабелем?!

– Через первого мужа Даши. Представьте, они служили с ним в одном ведомстве.

От него Бабель узнал о товарище жены, который пишет историю евреев.

– Он пришел ко мне на следующий день. Бабель очень любил приезжать в Одессу. Он ходил по городу, к знакомым, в суды, женские консультации и нащупывал, вынюхивал материал для своих литых плотных рассказов, где все слова знали свой особый порядок. Как он мог не заинтересоваться, когда ему сказали, что я изучаю еврейскую историю и роль евреев в Запорожской Сечи! ...Но эмоционально я оказался ему мало интересен. Молодой, пугливый нудник. Он спросил, почему бы мне не написать о роли евреев, например, в Гражданской войне. Я ответил: а зачем историку интересоваться тем, что происходит сейчас? Какой исторический интерес это может иметь? Что это может изменить?

Зачем это нужно в современном обществе?

– Хм... наверное, так сейчас удобнее. Зачем это нужно в современном обществе? – медленно повторил мои слова Бабель. – Осторожность и беспринципность ради собственного спасения? Хотя кто знает? Огорчить они могут всякого, – задумчиво сказал Бабель.

– Мы поговорили еще чуток о еврейском театре и поэзии и разошлись.

– А как был его французский?

– Если я вам скажу, что чуть-чуть лучше моего русского, то это не будет сильным преувеличением.

– Что вы имеете в виду?

– Видите ли, молодой человек, было время, когда в каждом приличном доме ребенка воспитывал настоящий француз. А если жена не возражала, то и француженка. Так было в доме моих родителей и так было в доме Бабелей. Поэтому приличные дети говорили по-французски без акцента. Что до русского, то родители считали, что родной язык войдет в ребенка сам. Но скажите мне, что могло войти в ребенка в Одессе? Вот так мы и говорим. Но Бабелю это нравилось. Как он говорил: «Колорит – это то, что нас отличает, и это надо беречь».

Дарья Николаевна принесла с кухни поднос с чайником и чашками. Комната наполнилась ароматом свежего печенья. Мы сели к столу; она приняла Рудика как эстафету и, устроившись с ним в кресле мужа, слушала нас.

Профессор, прикрывая правый глаз и громко втягивая чай, спросил:

– Так вы – любитель Бабеля?

– Конечно! – с энтузиазмом ответил я.

– И что вам у него нравится?

– «Король», – ответил я без запинки. – «Как это делалось в Одессе».

– Вам нравится этот кукольный театр? Вам нравятся эти бандиты? В жизни от таких хочется держаться подальше. Это что, люди? Это же смиттё! Прочтите лучше «Историю моей голубятни». Это рассказ.

Сделав еще глоток чаю, он вдруг по-совиному открыл правый глаз и, глядя куда-то в пустоту перед собой, заговорил с неожиданной горечью в голосе: «Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний не залепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен».

С опозданием я понял, что это была цитата.

– Писать надо так, чтобы оно оставалось с читателем на всю жизнь, – он подвинул к себе печенье. – С другой стороны, читательский опыт помогает запоминанию.

Сказав это, он провел концом мизинца по шраму на щеке.

Я обнял старика. Он посмотрел на моего пса. Улыбнулся и сказал:  
– Ауфидерзейн.

Домой я чуть ли не бежал, Рудик едва поспевал за мной. Первым делом я открыл томик Бабеля – вы, наверное, помните это первое послевоенное «кемеровское» издание – и залпом прочел «Историю моей голубятни». Потом стал перечитывать одесские рассказы. После рассказа о погроме, увиденном глазами ребенка, они казались мне совершенно искусственными, кукольными. «Папаша, выпивайте и закусывайте, и пусть вас не беспокоят эти глупости!», «Если у меня не будет денег, у вас не будет ваших коров!» – КВН и только.

Потом я взялся за «Фроима Грача». Я помнил, что это была история о том, как убили короля одесских биндюжников, но начисто забыл детали. Теперь я с удивлением обнаружил, что фамилия следователя была такой же, как у моего профессора! И как я не обратил внимание, что портрет Фроима Грача был словно списан с него?!

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.

«Хозяин, – сказал вошедший, – кого ты бьешь? Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смиттём?..»

«Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового...»

– Это грандиозный парень, – сказал Боровой, – тут вся Одесса пройдет перед вами...»

А председатель, недолго думая, взял да и расстрелял «грандиозного парня». Он подошел к Боровому:

«– Ответь мне как чекист... Ответь мне как революционер – зачем нужен этот человек в будущем обществе?»

– Не знаю, – Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой, – наверное, не нужен...»

Книга упала на пол. Я был потрясен. Когда я набирал номер телефона профессора, палец мой едва попадал в отверстия на диске.

– Саул Яковлевич, так и Боровой, и Фроим Грач, и тот мальчик из «Голубятни» – это вы?!

– Ну не все так просто, молодой человек, – в его голосе явно звучало самодовольство. – То, что Бабель дал следователю мою фамилию, говорит знаете о чем?

– О чем?!

Рассуждая об амбивалентности криминальной субкультуры, он сослался на первоисточник. «Фроим Грач» – это притча о предательстве, осторожном следователе, о «нужных и ненужных» героях прошлого и настоящего, об истории и о самом Бабеле... Когда Бабель напечатал рассказ, мне было тридцать лет. Всего тридцать. Бабель был еще жив. Ему оставалось жить семь лет. Целых семь лет. Они так решили. «Они умеют огорчить».

– Согласитесь, он поступил как воспитанный человек. И потом, вы же знаете, писатели любят заимствовать. Помните, когда Гоголь украл у Пушкина сюжет «Ревизора», тот сказал: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он же меня постоянно обирает!».

– Постойте, Саул Яковлевич, откуда вы... – в голове моей все перепуталось, я судорожно пытался сопоставить возраст профессора с датой смерти Пушкина, о которой помнил только по песне Высоцкого – «с меня при цифре тридцать семь в момент слетает хмель». Я складывал, вычитал – ничего не сходилось.

– Саул Яковлевич, я не понимаю... Вы что... – я боялся сморозить глупость, но Саул Яковлевич уже понял причину моего замешательства.

Телефонная трубка закашлялась, потом разразилась хохотом. Такого хохота я не слышал от своего профессора никогда. Он хохотал с надрывом, хохотал и кашлял.

– Нет! Ой! Кха! Нет! Ох! Кха! Молодой человек, нет, я не такой старый! А о Гоголе – это же известный факт. Просто вы должны больше читать, а не забивать голову своим кавээновским смиттём!

## Вы мне не поверите, но!

С детства, как и многие одесские мальчишки, я мечтал о нарядной морской форме и фуражке с «крабом». Но благодаря моему дяде Люсику, эгоистически отбившему на историческую родину в 1975 году, в учебные заведения, готовившие кадры для Черноморского пароходства, дорога мне была закрыта. Считалось, что у меня «слабая связь с родным берегом».

Это привело меня в институт народного хозяйства, из которого я вышел через четыре года с дипломом экономиста. Работу мне помогла найти моя тетя Валя.

– Марик, – посоветовала она, – иди к нам в «Гипрошпрот». Там много наших.

И я пошел. Главное, чему я научился там, это фразе «вы мне, конечно, не поверите, но...», с которой не могу расстаться по сей день.

В «Гипрошпроте» я оказался в отделе Иосифа Абрамовича Гриншпуна, известного среди сотрудников института как Зеленчук, или просто «босс». Это был картавящий на французский лад франт, который любил оперу и менял костюмы с галстуками безо всякого повода. Ему было за шестьдесят. В то время я редко встречал людей, которые жили так долго.

– Маааррррк Семенович, – пропел Гриншпун при нашей первой встрече. – В моем отделе р-р-работают только толковые и очень толковые сотр-р-рудники. Других мы увольняем. Поэтому стар-р-райтесь. Вам будет помогать товар-р-рищ Рудяк.

День начался с политинформации, в ходе которой Гришпун заклеивал позором корейцев, вероломно вторгшихся на нашу территорию для сбора разведанных. За это им попало, так что пусть другие хорошо подумают, прежде чем идти на очередную провокацию. Когда он закончил, один из слушателей заметил:

– Босс, корейцы – наши люди. Я сидел на заседании Третьего Коминтерна в одесском оперном театре рядом с корейской делегацией. Вы, конечно, можете мне не верить, но они говорили на чистом идише.

Произнес эту фразу пожилой толстяк в заношенном костюме и галстук не длиннее пионерского.

После политинформации он подсел ко мне.

– Марк Семенович? Здравствуйте. Я Яков-Джон Михайлович Рудяк.

– Яковсон Михайлович? – мне показалось, что я ослышался.

– Не Яковсон, а Яков-Джон, – поправил он меня. – Вы, конечно, можете мне не верить, но во время войны я был лейтенантом американской армии. Они меня так называли.

– Вы – американец?!

– Нет, я – одессит. Но на войне я попал в плен, а оттуда к американцам. Они меня, конечно, накормили, одели, обняли, назвали Джоном и взяли с собой воевать.

– И после войны вы не переехали в Америку?! – поразился я.

– Зачем мне Америка? – он пожал плечами. – Я поехал домой в Одессу, но на перевалочном пункте меня допросил паразит типа нашего (он кивнул в сторону Гриншпуна), и мне пришлось сделать остановку на восемь лет в Сибири.

– Было время вспомнить старых друзей, – посочувствовал я.

– Да, хорошие были люди. Эти американцы, они же как дети. Чистые эвербутил. Вы, конечно, можете мне не верить, но когда встретились Западный и Восточный фронты, то банкет, естественно, поручили организовать мне. Все были счастливы. Конев и Эйзенхауэр танцевали фрейлехс. Я держал их фуражки.

В обед я столкнулся в буфете с Гриншпуном.

– Этот Рудяк – интересный кадр, – сказал я не без сарказма. – Сидел с корейцами на заседании Коминтерна, воевал с американцами... Держал фуражки Конева и Эйзенхауэра... Это что, у него такие шутки?

– Ах, какие шутки у Рудяка? – ответил Гриншпун. – Если у него и было чувство юмор-р-ра, то он его давно отмор-р-розил.

– А его что, действительно зовут Яковом-Джоном?

В ответ Гриншпун только пожал плечами, всем своим видом показав, что его это не касается.

– Не знаю, я им фуражки не держал.

Очень скоро первые впечатления о моем начальнике Гриншпуне и моем же подчиненном Рудяке сменились на более реалистичные. Гриншпун был подвержен резким переменам настроения, как женщина, вступившая в не самый лучший возраст своей

жизни. Он капризничал, менял мнение. Это изматывало и порой превращало общение с ним в пытку. Рудяк же, наоборот, был дисциплинирован, деловит и склонен к тому, чтобы защищать меня от произвола начальства. Однажды он уехал в командировку, где согласовывал вопрос энергопитания будущего шпротного завода. Вернулся он с двумя письмами за подписями заместителей начальника одного и того же ведомства. Один заместитель одобрял проект, второй отказывал.

– Яков Михайлович, а что мы с этими письмами будем делать? – не понял я. – Это же скандал!

– Марк, – успокоил меня Рудяк, – вы, конечно, можете мне не верить, но так лучше! Мы дадим Гриншпуну то письмо, которое будет соответствовать его настроению.

Маневры Рудяка не всегда приносили желаемый результат, и тогда он набрасывался на Гриншпуна, забыв, кто из них начальник, а кто подчиненный. Налившись кровью, он становился перед столом босса и, брызгая слюной, выпускал долго копившийся пар. Гриншпун, по крайней мере осознавая долю своей вины, пытался успокоить критика с помощью наигранной иронии:

– Товаар-р-риц Р-р-рудяк, а не пр-р-ринести ли вам валер-р-рьяночки?

– Не надо меня успокаивать! – продолжал кричать Рудяк. – Я видел Гитлера, как вас. Мне даже при Гитлере валерьянку не предлагали!

Вернувшись за свой стол, он еще какое-то время продолжал вполголоса перепалку с боссом: «Покойник Адольф был, конечно, еще тот подлец, еще тот наглец, но так издеваться над людьми – это уже слишком!».

Вы, конечно, можете мне не верить, но среди проклятий в адрес Гриншпуна я слышал и «эссхол» и «год-дэмит», еще даже не зная значения этих слов.

Вероятно, уверенность в себе породила в Рудяке еще один талант: в командировках мы всегда останавливались в лучших гостиницах. Администраторы поддавались на слова: «Я лейтенант американской армии и полковой комиссар Красной Армии Рудяк. Принесете мне в номер свежие газеты и разбудите ровно в семь утра. В девять у меня встреча с первым секретарем».

На этой фразе нам вручали ключи от номера. Если Рудяк был в ударе, нас могли угостить ужином. И нас ни разу не спрашивали, с каким именно секретарем собирался встретиться важный постоялец.

Подготовка к очередному празднику Победы, охватившая всю страну, коснулась и моего подчиненного.

– Марк, – важно доложил мне Рудяк, – меня пригласили в Москву на встречу ветеранов Второй мировой войны.

– С нашей стороны или с американской? – поинтересовался я.

– К чему этот сарказм? – пристыдил он меня. – Вы же не Гриншпун!

– Так поезжайте, со своими повидаетесь.

Рудяк серьезно посмотрел на меня.

– Вы думаете? Я бы поехал, но они должны дать мне хорошие командировочные и купить билеты на праздничный концерт. Как-никак, я ветеран двух армий.

Он сказал это тем же безапелляционным тоном, каким говорил с администраторами гостиниц.

Через две недели Рудяк заговорщицки сообщил мне:

– Все в порядке. Сам президент подписал письмо!

– Какой президент? – не понял я.

– Марк, вы же толковый человек, что тут не понимать? В настоящий момент я знаю только одного президента – Рейгана.

– Он будет в Москве?!

– Тихо! Пока об этом известно только узкому кругу.

Из Москвы Рудяк вернулся в красивой шляпе и роскошном светлом плаще.

– На валюту взял, – вальяжно доложил он.

Заслышав про валюту, Гриншпун снял очки и внимательно посмотрел на Рудяка, словно хотел выяснить, не пора ли вернуть того в Сибирь. Но теперь явным препятствием этому намерению были орден Великой Отечественной войны на лацкане нового костюма сотрудника и не менее яркая медаль на колодке в виде американского флага.

– Наши наградили, – довольно сказал Рудяк, покосившись сразу на два ордена.

В отделе повисла неловкая тишина.

– Удостоверения прилагаются, – добавил Рудяк и протянул мне новенькую корочку с золотым американским гербом.

В документе значилось, что Яков-Джон Рудяк возведен в чин капитана запаса американской армии.

– Поздравляю, – пожал я ему руку.

– Вы не видели, как меня поздравлял Рейган, – ответил Рудяк. – Специально для нашей встречи он выучил еще один русский анекдот, довольно-таки пошлый. Я ему ответил одесским. Он смеялся как ребенок! Представляете, он еще не забыл идиш! Вы, конечно, можете мне не верить, но он же наполовину аид, а какой аид не любит Одессу?! Спросил, между прочим, где я работаю. Я сказал, что у Гриншпуна в «Гипрошпроте». Он сказал, что такого не знает, но как вежливый человек просил передать привет всему коллективу!

Рудяк повернулся к аудитории, чтобы проверить реакцию: его слушали с широко раскрытыми ртами. На лучшее он и рассчитывать не мог!

– А в гости он вас не приглашал? – спросил я.

– Приглашал, конечно. Я обещал подумать. Слушайте, здесь столько дел. Скоро вторую очередь завода надо запускать. Люди хотят шпроты.

Насколько я знаю, Яков-Джон Рудяк так никогда и не выбрался в Америку, но успел проводить туда меня. На вокзале, оглянувшись по сторонам, он тихо предложил мне взять в дорогу двадцать долларов, которые у него оставались.

В Америке я вспомнил о нем быстрее, чем мог предполагать. В офисе иммиграции и натурализации мои документы заполнял пожилой клерк. На стене его заваленного папками кабинета висело несколько военных фотографий. На одной он был снят с советскими солдатами, видимо, в апреле-мае сорок пятого. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть ее. Одно из лиц в лихо заломленной пилотке не узнать было невозможно. Это был молодой Рудяк. Оценив выражение моего лица, клерк спросил:

– Know this guy?

Я закивал.

– Yes! I know him. Rudyak! I worked with him for five years!

– It's a small world! – улыбнулся клерк и добавил: – You wouldn't believe it!

## Americano, mericano

Помните знаменитую песню в исполнении Софии Лорен?

You wanna be Americano,  
                  'mericano, 'mericano:  
You were born in Italy.  
You try livin' alla moda,  
But if you drink whisky-soda  
All you do is sing off key.

«Ты рожден в Италии, но мечтаешь быть американцем», – пелось в ней.

Моя жизнь – та же песня с точностью до наоборот. Я – американец, с детства мечтавший стать итальянцем.

Родители назвали меня Альбертом. В честь Альберто Сорди. Думаю, это и объясняет мою страсть ко всему итальянскому. Мне уже под полтинник. Больше сорока из них я прожил в Америке. Мои родители переехали из Одессы в Бруклин в 1974 году. Совершили они этот героический поступок исключительно ради детей, то есть ради меня. Других детей у них не было. В свои неполные пять лет я выслушивал это каждый раз, когда вел себя, как типичный одесский жлоб, а не воспитанный мальчик из Бруклина.

Одесские друзья родителей, прибывшие в Нью-Йорк за полгода до них, считали себя коренными американцами. Они говорили «но» вместо «нет» и «о-кей» вместо «да», работали на «кеш» и давали советы: «Жить надо в Бруклине, только не на Брайтоне. Да, там все наши, но жить с ними неприлично. Надо жить с итальянками. С ними спокойнее».

Так мы оказались в «спокойном итальянском районе» Шипсхед-Бей. Наши называли его Шип-Шит-Бей, что звучало неприлично, но смешно.

Помимо итальянцев здесь жили американские евреи. Они были сентиментальны и плакали, вспоминая одесских бабушек и дедушек. Все были на одно лицо с Барброй Стрейзанд: вытянутые волосы, маникюр и глаза с застывшей в них жалобой на все,

на что можно было пожаловаться. Они упорно пытались вспомнить русский язык, но дальше «боболэ, гойлубцис и суп-боршч» дело не шло.

Мы тянулись к итальянцам, хотя наши родители этого не приветствовали. Они называли их курносыми и относились к ним с осторожностью. Все заправки и маленькие магазины, парикмахерские и строительные компании были в нашем районе итальянскими. В каждом бизнесе висел стандартный иконостас: Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Аль Пачино. Замыкал галерею Папа Римский. У счастливыхчиков фотографии были с дарственными надписями. Сидя в парикмахерской, завернутый в крахмальную простыню, ты мог ожидать, что сейчас сюда зайдет Синатра, обнимет парикмахера и завалится в соседнее хрустящее кожей кресло.

В каждом бизнесе обязательно присутствовала бабушка. Она плохо говорила по-английски, но зорко следила за происходящим и хорошо считала. Хозяин – мужчина лет пятидесяти, сидел у кассы и устало беседовал с посетителями. Бабушку он побаивался и общался с ней только по-итальянски.

Иногда в бизнес забегали франтоватые ребята восемнадцати-двадцати лет – хозяйские дети. Пока они виртуозно ругались по телефону, давали папе советы и снимали кассу, под дверью их ждал роскошный «Айрок-Камаро». Покончив с делами, они с ревом уносились на нем в Бей-Ридж.

Основной рабочей силой в этих бизнесах были бедные родственники из Сицилии, говорившие по-итальянски с бабушкой, или мы, говорившие на настоящем английском и внешне похожие на итальянцев. Нам казалось, что только они могут так легко и бесстрашно смотреть на мир, так красиво и расточительно жить.

Я и мой друг Фима, а по-местному Джеф, ходили в школу на Эммонс-авеню, после занятий зарабатывали на модные рубашки из магазина «Капри» на 86-й стрит, осторожно ухаживали за итальянскими девушками, покупали им мороженное в «Эль Греко» и мечтали о машине красного или небесного цвета. Нам было тогда лет по пятнадцать.

У отца Джеффа Гарика была автомастерская на Кони-Айленд-авеню, помимо этого он торговал подержанными машинами.

Гарика ценили. Он работал с утра до вечера, с уважением относился к клиентам и не лез в чужие дела. Таксисты, полицейские и местные авторитеты мирно сидели на одной лавочке в его офисе, ожидая свою машину из ремонта.

Одним из его клиентов был Джоуи Пагаро по кличке Кулак – крепко сбитый, небольшого роста, с хитрыми близко сидящими глазами и огромным носом. Его седые волосы были собраны в рокерский хвостик. На кулаки его было страшно смотреть. Джоуи разговаривал тихо и строго. Лишних вопросов ему задавать не хотелось.

По просьбам друзей Джоуи проводил беседы с их должниками. После чего те либо рассчитывались, либо исчезали. Друзья щедро благодарили Джоуи. Жил он, надо сказать, безбедно.

– Мальчики, – как-то спросил он нас, – подзаработать хотите?

– Да! – дружно выпалили мы.

– Приходите к шести часам в «Рандаццо» на Эммонс.

В «Рандаццо» собирались серьезные люди. Появиться там в обществе Джоуи Кулака было для нас большой честью.

– Альберт, – задыхался Фима, – я тебе отвечаю, что Джоуи берет нас на воспитание. Через пару лет нам будут доверять серьезные дела. Мы еще станем его партнерами.

– Фима, – отвечал я, – мы – не итальянцы. Тебя это не смущает?

– Ничего! Мы себя так проявим в работе, что они сделают для нас исключение.

Все оказалось намного проще. Джоуи попросил нас выгуливать и кормить его огромных псов, пока сам он был на работе. Жил он в престижном Марин-Парке. Ключи он нам передал с инструкцией: «Никаких посторонних, никакой болтовни и глупостей».

Мы с Фимой получали десять долларов на двоих за прогулку и кормежку псов, откладывая деньги на большой бизнес.

Однажды Джоуи позвонил нас и вытащил из кармана стянутый резинкой кругляш денег.

– Ребята, здесь шесть тысяч. Скажите Гарику, чтобы завтра подогнал к дому неброскую машину с нью-йоркскими номерами. Только чистыми.

От волнения мы вспотели.

– Конечно, дядя Джоуи. Все будет сделано.

Джоуи достал новенькую купюру в пятьдесят долларов и протянул нам.

Таких денег ни я, ни Фима сроду в руках не держали.

– Вот это да! – восхищался я. – Он нам доверил настоящую работу!

– Подожди, – неожиданно прервал меня Фима. – У меня есть идея. Мы поедем в Атлантик-Сити и выиграем кучу денег в рулетку. Я слышал, как мой дядя Леня доверил папе секрет беспроигрышной игры. Мы сначала удвоим эти деньги, а потом выиграем еще пару тысяч. Купим у папы машину и пригоним ее Джоуи. У нас с тобой останется тысяч десять. Эти деньги мы предложим Джоуи вложить в бизнес. Он знает всех в Бруклине. Кто не возьмет партнеров с десятью тысячами?

– Фима, а это не опасно? – промямлил я. – А вдруг...

– Что вдруг?! Дядя Леня играет в рулетку каждую неделю. Бабок у него больше, чем у моего и твоего папы вместе взятых. В казино его уважают. Присылают лимузин. Билеты на бокс и концерты вообще дают на шару. Что тебе еще надо знать?

Короче, вместо мастерской мы зашли к Фиме домой, где одолжили у дяди Гарика пиджаки Версаче, галстуки и рубашки. Из зеркала на нас смотрели вполне уважаемые молодые люди.

Оставшись довольными своим видом, мы кинулись к остановке, откуда отходили автобусы в Атлантик-Сити. Билет стоил восемь долларов, но кассы давали бесплатно жетоны на пятнадцать долларов для игры в казино и еще пять на буфет.

– Мы уже по двадцатке заработали, а ты сомневался, – сказал Фима, устраиваясь в кресле.

– А зачем они билеты заставляют покупать сразу в два конца? – спросил я.

– Да ну их с этими билетами! – ответил Фима. – Обратно поедем на лимузине. Пусть знают наших.

В казино курили и громко смеялись. Гремела музыка. Мы протиснулись к столу.

– Что делаем? – спросил я.

– Та-ак, – важно протянул Фима, – дядя Леня говорил, что он прибавляет к последнему выигрышному номеру цифру двенадцать и ставит сразу на восемь номеров по кругу. Также нужно

чередовать красное и черное и четное-нечетное. Главное – ставить крупно и удваивать выигрыш.

– Может, попробуем вначале сыграть на свои пятьдесят баксов? – спросил я.

– Хорошо! – согласился Фима и тут же выпалил маркеру: – Поменяй нам пятьсот!

Я отсчитал пять сотен. Фима, подняв глаза к потолку, беззвучно зашевелил губами, потом раскидал фишки по столу. Волчок завертелся.

– Поздравляю, – сказал маркер и придвинул к Фиме маленькой лопаткой внушительную горку фишек. Фима барским жестом потребовал кока-колу.

– Та-ак, система работает, – сказал он. – Теперь удваиваем.

Фиме опять пришла горка. Поменьше, но тоже внушительная. Он опять широким жестом раскидал фишки по столу и забормотал:

– Ага... промазал... надо было на двадцать ставить. Нечет взял. Еще тысячу поменяй... Еще колы. Неплохо. Не докрутил, подлец... Еще штуку дай... Жарко здесь... Дядя, не курите мне в лицо... Какая там цифра выиграла?

Игра продолжалась недолго. Фима с зеленым лицом побрел к выходу. Рубаха вылезла из брюк неровными волнами, галстук съехал на сторону, пиджак исчез.

– Не понимаю: в чем ошибка? Вроде все делал правильно.

Всю обратную дорогу мы молчали.

На следующий день мы с Фимой очень тихо поскреблись в дверь дома, где жил Джоуи Кулак. Он бегло взглянул на нас и спросил, где ключи от машины.

Перебивая друг друга, мы стали объяснять, как мы все хорошо придумали, но как неожиданно провалились наши грандиозные планы стать его партнерами.

– Секундочку... Вы проиграли мои деньги в казино? Мои деньги?! Джоуи расхохотался, но от его смеха нам стало не по себе.

– Ну, ребята, яйца у вас до пола. Значит так, бегом к Гарику, и чтобы через два часа машина была у моего дома. Не хочу даже думать, что будет, если вы опоздаете.

Машину дядя Гарик отдал свою. Без лишних слов. Помыл, заправил полный бак и отдал. Это была дорогая машина.

В тот день мы с Фимой были нещадно биты своими культурными родителями. Не только в воспитательных целях, но и из предосторожности, чтобы за них это не сделал кто-то другой. Потом дядя Гарик пил с моим отцом. Из-за закрытой двери я слышал его голос:

– Семен, какое счастье, что я имею репутацию у курносых. Ты не представляешь, как я благодарен Джоуи, что мы потеряли только деньги. Какое счастье...

Мои родители, опять-таки, ради детей, переехали после этого случая в Нью-Джерси, где меня отдали в еврейскую школу. Бедного Фиму отдали в военную академию.

Лет через десять после этого случая по телевизору показывали суд над главным мафиози Бруклина – Джоном Готти. Одним из фигурантов был наш приятель Джоуи. Слушая долгий приговор, он улыбался и сжимал свои чудовищные кулаки.

– Какое счастье, – вспомнил я слова дяди Гарика, – какое счастье...

Как говорится, много с тех пор утекло воды. Я женился и, надо сказать, удачно. Моя жена Марина – итальянка. Не из Бруклина. По вечерам мы сидим на террасе нашего дома, пьем любимое верментино и наблюдаем, как розовые сумерки опускаются на Неаполитанский залив, растворяют громаду Везувия, подбираются к берегу. Самый красивый вид в мире отходит ко сну. С набережной ветерок доносит волнами звуки любимой с юности песни в исполнении уже какого-то нового, незнакомого мне артиста. Но мелодия и, главное, слова – те же, о стремлении быть не тем, кем тебе полагалось быть.

– Ну что, мерикано, – улыбается Марина, – hai la vita dolce?

– Sì caro, – отвечаю я. – Скажи мне теперь, что я не итальянец?!

Рисунок Михаила Ревы

